

DOI 10.15393/j9.art.2018.5101

УДК 821.161.1.09“18”

Вячеслав Анатольевич Кошелев

*Нижегородский государственный исследовательский
университет им. Н. И. Лобачевского (Арзамасский филиал)
(Арзамас, Российская Федерация)*

viacheslav.koshelev@mail.ru

ПАРАДОКС «БЕГСТВА ИЗ РАЯ» В РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ

Аннотация. Предметом исследования оказывается мотив самовольного «бегства из рая», противостоящий мотиву «изгнания из рая», распространенному в западных литературах. Рассматривая два одновременных образца проявления этого мотива (в пьесе А. Н. Островского «Лес» и в сказке К. Н. Батюшкова «Странствователь и Домосед»), автор статьи приходит к наблюдению, что он возник как романтическое противостояние сентиментальному разделению «устойчивой» и «движущейся» жизни: в поэзии сентиментализма утверждалась ценность «устойчивой» позиции — романтики определили в качестве основного знака «движение», приобретшее затем парадоксальные формы, открывавшие новую возможность разработки национальной психологии русского человека и противостоявшие идеологии прежней русской словесности. Этот парадокс был подхвачен А. С. Пушкиным и осмыслен Ф. М. Достоевским в «Пушкинской речи». Дальнейшее развитие этого мотива привело к появлению идеала «неприкаянного» странника, устойчиво отразившегося в комедиографии А. Н. Островского.

Ключевые слова: Аркадий Счастливец, А. Н. Островский, К. Н. Батюшков, А. С. Пушкин, Ф. М. Достоевский, гомеостатическое общество, устойчивость, разрушение, тяга к неизведанному, бегство из рая

Лев Николаевич Гумилев определял парадокс «бегства из рая» как личностную усталость от «гомеостатического» общества, члены которого, «тихие люди, которые были никому не заметны», проповедуют принцип — живи и не мешай другим: «В гомеостатическом обществе жить можно, жить легко. Это, можно сказать, возвращение утраченного рая, которого никогда не было. Но кто из нас согласился бы променять полную тревог и треволнений творческую жизнь на спокойное прозябание в таком гомеостатическом коллективе? От скуки помрешь!» [Гумилев: 320].

Далее в рассуждениях этнолога возникает пример из комедии А. Н. Островского «Лес» — из знаменитого диалога двух бродячих актеров (второе явление II действия). Комик Аркадий Счастливец, представитель «народа вольного, гулящего», решил погостить у «дяденьки, лавочника в уездном городе»:

«Долго меня в дом не пущали, все разные лица на крыльцо выглядывали. Наконец выходит сам. “Ты, говорит, зачем?” — “Навестить, говорю, вас, дяденька”. — “Значит, ты свои художества бросил?” — “Бросил”, говорю. “Ну, что ж, говорит, вот тебе каморка, поживи у меня, только прежде в баню сходи”. Стал я у них жить. Встают в четыре часа, обедают в десять; спать ложатся в восьмом часу; за обедом и за ужином водки пей, сколько хочешь, после обеда спать. И все в доме молчат, Геннадий Демьяныч, точно вымерли. Дядя с утра уйдет в лавку, а тетка весь день чай пьет и вздыхает. Взглянет на меня, ахнет и промолвит: “Бессчастный ты человек, душе своей ты погубитель!” Только у нас и разговору. “Не пора ли тебе, душе своей погубитель, ужинать; да шел бы ты спать”. <...> Я было поправился и толстеть уже стал, да вдруг как-то за обедом приходит в голову мысль: не удавиться ли мне? Я, знаете ли, тряхнул головой, чтоб она вышла, погода немного опять эта мысль, вечером опять. Нет, вижу, дело плохо, да ночью и бежал из окошка. Вот каково нашему брату у родных-то» [Островский: 278].

Ученый-этнолог представил развернутую драматургом бытовую ситуацию как показатель одного из финальных этапов этногенеза — инерционной фазы гомеостаза. Островский, естественно, не имел в виду ничего подобного: для него представленный случай — просто психологический парадокс. Отчего это не самый богатый и удачливый член общества отказывается присоединиться к той жизни, которая в прагматическом мире почитается если не за «желанную» (райскую), то уж, во всяком случае, за «нормальную» (обыкновенную)? В самом деле: никто работать не заставляет, кормят, поят, — а он...

А он, представитель «народа вольного, гуляющего», привык во всем противопоставлять себя иначе мыслящему, «практическому» и «правильному» народу. Уже его внешний вид

и «платье» («всё, что на мне-с, а то уж давно никакого нет-с») выглядит своеобразным вызовом житейской «правильности»:

«...ему лет за 40, лицо как будто нарумяненное, волоса на голове вроде вытертого меха, уса и эспаньолка тонкие, жидкие, рыжевато-пепельного цвета, глаза быстрые, выражающие и насмешливость, и робость в одно и то же время. На нем голубой галстух, коротенький пиджак, коротенькие панталоны в обтяжку, цветные полусапожки, на голове детский картузик — все очень поношенное, на плече, на палке, повешено самое легкое люстриновое пальто и узел в цветном платке» [Островский: 272].

Наряд откровенно нелепый — но подчеркивает индивидуальность и «инаковость» персонажа.

Судя уже по начальным репликам, Аркашка Счастливец беден, как церковная мышь: «У меня и сроду много-то не было, а теперь копейки за душой нет». Он пробирается пешком («на своих-с») через пол-России («из Вологды в Керчь-с»), «без табаку и без денег»: не все ли равно в этой ситуации, «что по дороге идти, что на месте сидеть» [Островский: 273]. Единственное, что он умеет в этой жизни, — это актерское ремесло; но и в театральной иерархии этот герой занимает низшее место в сравнении с «трагиками» или «первыми любовниками». Он — «комик», а комики — «шуты» и «визитов не делают». Однажды даже довелось «в суфлеры» пойти: «...каково для человека с возвышенной душой-то»? Он — человек многократно «битый», хотя и «смирный». Готов на все: когда зимой добирался в Архангельск, его «в большой ковер закатывали» — и «ничего, доехал-с». Может и с «богомольцами» дойти, «христовым именем питаюсь». Может и своровать, что плохо лежит, — «гордыня» у него напрочь отсутствует: из одного города «три раза выбивали», из другого «четыре версты казаки нагайками гнали» [Островский: 273–274].

При этом он актер, более всего ценящий аплодисменты и искренне завидующий коллеге, которого «тридцать раз вызывали». Именно «аплодисменты публики», а не деньги почитаются им основной житейской ценностью. Он считает себя художником — хотя его «художества» воспринимаются обществом и религией как «греховные». И в глазах членов «гомеостатического коллектива» он уже из-за профессии своей

выглядит «бесщастным человеком» и «душе своей погубителем». Рядом с ним — такой же «бесщастный» комедиант Геннадий Несщастливцев (все различие в амплуа: не «комик», а «трагик»), тоже демонстрирующий собственную «инаковость» в отношении к привычному быту:

«И в самом деле, брат Аркадий, зачем мы зашли, как мы попали в этот лес, в этот сыр-дремучий бор? Зачем мы, братец, спугнули сов и филинов? Что им мешать! Пусть их живут, как им хочется! Тут все в порядке, братец, как в лесу быть следует <...> лес, братец» [Островский: 337].

Основное содержание комедии Островского «Лес» как раз и сводится к активному противостоянию «бесщастных» и живущих не по привычным законам «вывернутых» из жизни странствующих актеров — и всех остальных, подчиненных известному «шаблону» жизни обывателей. Противостояние строится на основе антонимичной конструкции: *устойчивость* быта — *движение*. Обычные люди выбирают устойчивость леса и становятся обывателями конкретного («своего») места; бродяги предпочитают перемещаться по пространству российского бытия. В разговорах «комедиантов» постоянно мелькают названия тех провинциальных (принципиально не столичных!) городов, где они были и зарабатывали аплодисменты публики: Вологда, Керчь, Кострома, Ярославль, Архангельск, Ставрополь, Тифлис, Кременчуг, Воронеж, Рыбинск, Карасубазар, Иркутск, Ирбит, Новочеркасск, Екатеринбург... Их житейские лозунги: «Подвигайся!», «Руку, товарищ!», «В дорогу, Аркашка!» [Островский: 275, 279, 338].

Поэтическое противостояние «устойчивой» и «движущейся» жизни возникло еще в поэзии сентиментализма, в котором активно разрешались проблемы именно частного, семейного бытия человека. Так, в «Аонидах» появилась стихотворная «сказка» И. И. Дмитриева «Искатели Фортуны» (1794; переложение басни Ж. Лафонтена «L'homme qui court après la Fortune...» / «Человек, который гонится за фортуной...»), где впервые предстал образ неудачного «странствователя». Вот исходный момент «поисков удачи»:

«В деревне ль, в городке,
Один с другим невдалеке,
Два друга жили;
Ни скудны, ни богаты были.
Один все счастье ставил в том,
Чтобы нажать огромный дом,
Деревни, знатный чин, — то и во сне лишь видел;
Другой богатств не ненавидел,
Однако ж их и не искал,
А каждую ночь покойно спал...» [Дмитриев: 162].

Два героя — активный и пассивный — находятся в одинаковых «средних» житейских условиях. Активный решает отправиться на поиски удачи (Фортуны) («Кто на своем веку Фортуны не искал?») — пассивный остается дома («мне дорог мой покой»). Активный искатель посещает множество отдаленных стран, где, как говорят, расположены «любимые уголки Фортуны», отправляется в индийский Сураг («хорошая страна»: «Я слышал в сказках, там Фортуне с давних лет курится фимиама»), потом в Японию — но везде «разъехался с Фортуною слепой» [Дмитриев: 163]. Переживши множество бед, «всечасно в трепете, от смерти на вершок», потративши уйму времени, воротился искатель под «домашний, милый кров»:

«В отчизну наконец вступает,
Летит ко другу, — что ж? как друга обретает?
Он спит, а у него Фортуна в головах!» [Дмитриев: 162–164].

Показательно, что в подобных «предромантических» произведениях и сюжетная «победа», и авторские симпатии оказываются не на стороне *активного* «искателя», а непременно на стороне *пассивного* «домоседа», а сами поиски представляются как комическая и бесполезная суета. То же самое — в басне Дмитриева «Два голубя» (1795):

«О вы, которых бог любви соединил!
Хотите ль странствовать? Забудьте гордый Нил
И дале ближнего ручья не разлучайтесь...» [Дмитриев: 199].

И в знаменитой сказке «Причудница» (1794), где мотив «странствия» капризной москвички заменен мотивом чудесного сна с полетом «за тридевять земель», все завершается

сакраментальным выводом: «Что матушки Москвы и краше, и милее?» [Дмитриев: 185].

В последующих романтических манифестах, вроде «Теона и Эсхина» (1814) В. А. Жуковского эта же оппозиция имела сходное «разрешение», но получила еще и «программное» философское обоснование: «*Всё в жизни к великому средство*» [Жуковский: 275]. Отсюда с неизбежностью следует, что за счастьем не надо ходить далеко: наше счастье в нас самих. И жизненный «рай» надо искать у себя дома — и находить в собственной душе. Уставший от бесплодных скитаний Эсхин молчаливо признает свое моральное поражение при виде несломленного после тяжкого испытания друга. Теон обрел счастье, взрыхляя «наследственное поле», и получил право осуждать напрасные людские «искания», уводящие от изначального «рая»:

«О друг мой, искав изменяющих благ,
Искав наслаждений минутных,
Ты верные блага утратил свои —
Ты жизнь презирать научился...» [Жуковский: 275].

«Теон и Эсхин» был завершен Жуковским 11 декабря 1814 г. в Москве. Через месяц, 10 января 1815 г. другой поэт, К. Н. Батюшков, в Петербурге закончил свою стихотворную сказку «Странствователь и Домосед», в которой тоже представлены два героя, один из которых «скитался» по свету и не нашел счастья, другой — удовлетворился счастьем «домашним». Но нравственные итоги, к которым приходил Батюшков, были принципиально иными.

Сообщив о только что написанной сказке П. А. Вяземскому, Батюшков первым делом указал на ее личностную, «лирическую» основу. Эта сказка непременно «напомнит обо мне»: «Я описал себя, *свои собственные заблуждения и сердца, и ума моего*» (курсив мой. — В. К.) [Батюшков: II, 219]. И в следующем письме: «...пришлю тебе мою сказку “Странствователь и Домосед”, где я *сам над собою смеялся*» (курсив мой. — В. К.). И уточнил, что задумал эту сказку он «в Лондоне <...> сидя с Севериным на берегах Темзы» [Батюшков: II, 222]. Почему-то автор особенно ценил ту лирическую стихию, которая

была совсем не свойственна жанру стихотворной сказки (новеллы, «conte»¹) и которая, в сущности, выбивалась из рамок основного повествования. Несмотря на это, Батюшков включил в него ряд «лирических отступлений», связанных с его собственной личностью:

«Объехав свет кругом,
Спокойный домосед, перед моим камином
Сижу и думаю о том,
Как трудно быть своих привычек властелином;
Как трудно век дожить на родине своей
Тому, кто в юности из края в край носился,
Все видел, все узнал — и что ж? из-за морей
Ни лучше, ни умней
Под кров домашний воротился:
Поклонник суетным мечтам,
Он осужден искать... чего — не знает сам!» [Батюшков: I, 241].

Демонстрацией авторского я начинается сказка. При этом автор декларирует для себя парадоксальную позицию «спокойного домоседа», который при этом «объехал свет кругом». В самом деле: Батюшков, едва войдя в зрелый возраст, перестал быть «домоседом». У него даже не было собственно дома: в деревне он жил «у сестер в гостях» [Батюшков: II, 54], в столицах — гостил у друзей или родственников, на службе — на биваках или служебных квартирах. И «скитался» с места на место, стараясь не задерживаться в одном пункте более полугода. В ситуации сказок Дмитриева он являл собой как раз комический вариант «странствователя».

Посылая 25 марта 1815 г. Вяземскому (и его московским друзьям) новую сказку, Батюшков рассматривает ее как «образец» нового подхода к известному жанру:

«Зачем ты не испытываешь род сказки? Зачем Дмитриеву оставлять одному это поле, поле веселое и пространное, созданное, как нарочно, для твоего остроумия, ума и сердца. Дай Бог, чтобы мой опыт тебя воспалил. Принимайся! <...> У нас множество баснописцев. Пусть будут и сказочники. <...> Похвали мою сказку. Это меня ободрит. Успехов просит ум... а сердце счастья просит» [Батюшков: II, 326–327].

Герои этой сказки — афинские жители, братья Филалет и Клит. Первый, получив богатое наследство, пускается в странствия, обуреваемый понятным желанием: «...я славен быть хочу». Он не имеет определенного представления о том, на каком поприще он добьется этой *славы*: хочет попробовать стать философом, оратором, поэтом — «и мало ль чем еще?». Живущий в центре тогдашней Ойкумены, он устремляется на ее окраины: Пирей, Мемфис, Кротона, Этна, Лакония, Коринф, Мегарида... И везде — терпит комические неудачи: то наступит «псу священному» «на божескую лапу», то не выдержит «пифагорейского» обета молчания, то его обкрадут, то обманет «скептический мудрец». После заключительного позора, когда умудренный опытом странствователь решился выступить на Афинской площади — и был освистан и прогнан, герой, «жалкий, избитый, полумертвой», возвращается под кров своего богатого, но смиренного брата [Батюшков: I, 241–249].

В сказке Батюшкова речь идет именно о реальных житейских бедах: герой еле убежал «от гнева старцев разъяренных», у него отняли деньги и едва «жизнь не отняли» воры, от отчаяния он чуть не утопился в реке, его едва не забили камнями на Афинской площади. Эти несчастья, как заметил Ю. В. Манн, изложены «с явной тенденцией к иронии» [Манн: 343]. Филалет — как и бродячие актеры Островского — более всего ценит «аплодисменты». Но из всех ролей, которые он хотел сыграть, справился разве что с ролью «комедианта».

Ирония определила и неожиданный финал. Клит принял Филалета в свой дом как «нежданного сердца гостя» и «из милости» устроил ему «райскую» жизнь. Тот было «оправился» и даже продолжил гордые рассказы о своих путешествиях — но не мог прожить более пяти дней в уютном смиренном домике «гармоничного» брата:

«А дней через пяток, не боле,
Наскуча видеть все одно и то же поле,
Все те же лица всякой день,
Наш грек, — поверите ль? — как в клетке стосковался...»
[Батюшков: I, 249].

И, под действием какой-то неведомой силы, Филалет отправляется в новое путешествие, заранее обреченное на неудачу: «За розами побрел — в снега Гипербореев». Сказка кончается совершенно «батюшковским» жестом. Родные кричат «с домашнего порога»:

«Брат, милый, воротись, мы просим, ради бога!
Чего тебе искать в чужбине? новых бед?
Откройся, что тебе в отечестве немило?
Иль дружество тебя, жестокий, огорчило?
Останься, милый брат, останься, Филалет!»
Напрасные слова — Чудак не воротился —
Рукой махнул... и скрылся» [Батюшков: I, 249].

«Конец прекрасен», — восхитился этой *point-концовкой* А. С. Пушкин (на полях «Опытов» Батюшкова) [Пушкин: XII, 283]². Действительно, этим финалом Батюшков открывал новую возможность разработки национальной психологии русского человека. Этот «конец» оказывается невольно противопоставленным идеологии прежней русской словесности. И дело не только в том, что, «развивая мотив странствований, Батюшков пришел к полярно противоположным по сравнению с Дмитриевым выводам» [Фридман: 221]: Батюшков, помимо всего прочего, утверждает мысль о «субъективности» представления о счастье. Ничего раз навсегда устоявшегося не существует. Если домосед действительно счастлив на своем «наследственном поле», — то странствователю наскучило прежде всего «видеть все одно и то же поле» [Батюшков: I, 249] — то самое, «наследственное»! Для него требуется счастье другого типа и, даже если оно недостижимо, он не в силах довольствоваться извне предписанной «гармонией».

Не случайно после высказанного восхищения финалом сказки Батюшкова Пушкин пытается указать ее «недостатки»: «Конец прекрасен. Но плана никакого нет, цели не видно — все вообще холодно, растянуто, ничего не доказывает и пр.» [Пушкин: XII, 283]. Но то, что Пушкин посчитал «недостатками» (бесплановость, бесцельность, бездоказательность в комическом описании «странствий» персонажа) — это не что иное, как приметы той же *субъективности* поэтического создания. Ведь Батюшков повествует не только о Филалете,

но и о себе самом, который всю жизнь так же бестолково и «беспланово», как и герой, «из края в край носился». В самом повествовании соседствуют «Арголида» и «Адмиралтейский шпиц», «воды Иллиса» и «Фонтанка», «площадь в Афинах» и «бульвар в Париже», «радостные гости» в доме Клита и «милые лица» в доме Муравьевых. В сказке находятся рядом приметы древней Эллады и события недавнего прошлого («Вы помните, бульвар кипел в Париже...»), а личности героя и автора напрямую сопоставлены: «Я сам... Но дело все теперь о Филалете» [Батюшков: I, 247].

При этом финальный жест героя сказки Батюшкова оказывается *прекрасен* именно своей неожиданностью: скиталец, обретающий житейскую «устроенность» и желанный многими «рай» — бежит из него по «внутренней» причине: почему-то он в этом раю «как в клетке стосковался». С одной стороны, он в этом раю может обрести все и реализовать даже желание прославиться: «За чашей круговой опять заговорил / В восторге о тебе, благословенный Нил!» [Батюшков: I, 249]. Но какое-то неведомое чувство все равно толкает его на *бегство*: он сознательно лишает себя возможности вкушать этот «рай» и далее и готов на неизбежные «бедствия», сопряженные с ненужным уже «странствием».

Батюшков подчеркивает: «я сам» веду себя по той же модели! По этой же «идеологически» выверенной модели строят свою жизнь и бродячие актеры Островского. При этом ни у Батюшкова, ни у Островского герои не приближаются к отмеченному Достоевским (в «Пушкинской речи») типу «русского бездомного скитальца», «того несчастного скитальца в родной земле, того исторического русского страдальца, столь исторически необходимо явившегося в оторванном от народа обществе нашем», которому «необходимо именно всемирное счастье, чтоб успокоиться» [Достоевский: 231]. Достоевский указывает подобные пушкинские типы: Алеко, Онегин... Этот ряд можно продолжить позднейшими героями: Печорин, Рудин, Ставрогин.

Но тип «беглеца из рая» все же иной. Когда Онегин «очень рад, что прежний путь переменил на что-нибудь» [Пушкин:

VI, 27], то это «что-нибудь» вовсе не означает падения на жизненное «дно» или существования в роли человека «без определенного места жительства». С другой стороны, ни Филалет, ни Аркашка Счастливец не задумываются о «всемирном счастье»: им довольно мечты о том, чтобы найти «розу» в стране, где не бывает солнца, или о том, чтобы создать неведомый «театр», который «улучшит» публику и настроит ее на «аплодисменты». Им нужно, в сущности, немного — но то, что можно добыть только «свободным хотением».

«Беглец из рая» живет на контрасте. Библейский *рай* противостоит *аду*; в нем, согласно книге Бытия, растут два чудесных дерева: «дерево жизни» (плоды которого приносят вечную жизнь) и «дерево познания добра и зла» (Быт. 2:9). Создатель, изгнавший Адама из рая за то, что тот вкусил от дерева познания, опасался, «как бы не простер он руки своей и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал бы жить вечно» (Быт. 3:22). Именно призрак «вечной», сытой и спокойной, но скучной жизни под «божественным» присмотром и запретом не удовлетворил «изгнанных из рая» Адама и Еву. Это же психологическое ощущение питает и психологию русских «беглецов».

Вкусив от «древа познания», герои вроде Аркашки Счастливеца не усвоили прагматического «райского» девиза: «Живи и не мешай жить другим». И потому оказались «на обочине» бытия — в роли неуважаемых «комических» персонажей. Они продолжают следовать по этой обочине со своей «сказкой», никому не интересной и никого не научающей.

Впрочем, они и не стремятся никого учить.

Примечания

- ¹ В русской словесности рубежа XVIII–XIX вв. жанр «conte» определился как легкий, шуточный рассказ, богатый бытовыми подробностями. Впервые теоретически он был осмыслен в кн.: [Остолопов: 146–195]. См. об этом жанре: [Соколов].
- ² Существует большая полемика о времени и цели составления этих заметок Пушкина на полях стихотворного тома «Опытов...». См.: [Майков], [Комарович], [Лотман: 311–312], [Сандомирская], [Горохова],

[Проскурин], [Балакин]. Точку зрения автора статьи (уточненную в двух последних исследованиях) см.: [Кошелев: 78–102]. Мы полагаем, что эти пометы были сделаны Пушкиным по просьбе самого Батюшкова, задумывавшего «другое издание» стихов.

Список литературы

1. Балакин А. Ю. Еще о прагматике и датировке пушкинских помет на второй части «Опытов в стихах и прозе» К. Н. Батюшкова // *Slavica Revalensia*, 2016, no. 3, pp. 9–28 [Электронный ресурс]. — URL: <http://publications.tlu.ee/index.php/slavica/article/view/521/409> (23.12.2017).
2. Батюшков К. Н. Сочинения: в 2 т. / сост., подгот. текста, вступ. статья и коммент. В. А. Кошелева, А. Л. Зорина. — М.: Худож. лит., 1989.
3. Горохова Р. М. Пушкин и элегия К. Н. Батюшкова «Умиравший Тасс» // *Временник Пушкинской комиссии*. 1976. — Л.: Наука, 1979. — С. 24–45.
4. Гумилев Л. Конец и вновь начало: Популярные лекции по народоведению. — СПб.: СЗКЭО; М.: Кристалл, 2003. — 414 с.
5. Дмитриев И. И. Полн. собр. стихотворений. — Л.: Советский писатель, 1967. — 512 с.
6. Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: в 30 т. — Л.: Наука, 1984. — Т. 26: *Дневник писателя, 1877. Сентябрь–декабрь. 1880. Август* / ред. Н. Ф. Буданова и др.; текст подгот. и примеч. сост. А. В. Архипова и др. — 518 с.
7. Жуковский В. А. Сочинения: в 3 т. / сост., авт. вступ. ст. и коммент. И. М. Семенко. — М.: Худож. лит., 1980. — Т. 1. — 438 с.
8. Комарович В. Пометки Пушкина в «Опытах» Батюшкова // [Александр Пушкин]. — М.: Журнально-газетное объединение, 1934. — С. 885–904. (Лит. наследство; Т. 16/18)
9. Кошелев В. А. В предчувствии Пушкина: К. Н. Батюшков в русской словесности начала XIX века. — Псков: Изд-во Псковского обл. ин-та усовершенствования учителей, 1995. — 124 с.
10. Лотман Ю. М. Историко-литературные заметки // *Труды по русской и славянской филологии*. — Тарту, 1960. — Вып. III. — С. 310–314.
11. Майков Л. Н. Пушкин о Батюшкове // Майков Л. Н. Пушкин. Биографические материалы и историко-литературные очерки. — СПб.: Издание Л. Ф. Пантелеева, 1899. — С. 286–287.
12. Манн Ю. В. Поэтика русского романтизма. — М.: Наука, 1976. — 375 с.
13. Остолопов Н. *Словарь древней и новой поэзии: в 3 частях*. — СПб.: Тип. Императорской Российской Академии. — 1821. — Часть 3. — 500 с.
14. Островский А. Н. Полн. собр. соч.: в 12 т. — М.: Искусство, 1974. — Т. 3: *Пьесы 1868–1871 гг.* / подгот. текста Е. И. Прохорова и Л. Н. Смирновой; коммент. З. А. Блюминой [и др.]; ред. В. Я. Лакшин. — 559 с.
15. Проскурин О. А. Пометы Пушкина на полях «Опытов в стихах» Батюшкова: датировка, функция, роль в литературной эволюции // *Новое литературное обозрение*. — 2003. — № 64. — С. 251–283.
16. Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: в 16 т. — [М.; Л.]: Изд-во АН СССР, 1937–1949.

17. Фридман Н. В. Поэзия Батюшкова. — М.: Наука, 1971. — 383 с.
18. Сандомирская В. Б. К вопросу о датировке помет Пушкина на второй части «Опытов» Батюшкова // Временник Пушкинской комиссии. 1972. — Л.: Наука, 1974. — С. 16–35.
19. Соколов А. Н. Стихотворная сказка (новелла) в русской литературе // Стихотворная сказка (новелла) XVIII — начала XIX века. — Л.: Советский писатель, 1969. — С. 5–42.

Дата поступления в редакцию: 15.12.2017

Дата публикации: 29.06.2018

Viacheslav A. Koshelev

*Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod
(The Arzamas Branch),
(Arzamas, Russian Federation)*

viacheslav.koshelev@mail.ru

THE PARADOX OF “ESCAPE FROM PARADISE” IN RUSSIAN LITERATURE

Abstract. The subject of the study is the motif of unauthorized “escape from Paradise”, as the one opposing to the motif of “exile from Paradise”, common in Western literature. Considering two asynchronical samples — of the manifestations of this motif (in A. N. Ostrovsky’s play “The Forest” and in the fairy-tale by K. N. Batyushkov “A Wanderer and a Stay-at-home”), the author comes to the observation that it appeared as a romantic opposition to sentimental separation between “sustainable” and “moving” life: the poetry of sentimentalism favored the value of the “sustainable” position, whereas the supporters of romanticism saw the “movement” as the key sign, which later took paradoxical forms, giving new opportunities for developing national psychology of the Russian person and opposing the ideology of former Russian literature. This paradox was adopted by A. S. Pushkin and conceptualized by F. M. Dostoevsky in the “Pushkin Speech”. Further development of this motif led to the appearance of the ideal of a “restless” wanderer, consistently embodied in comedies by A. N. Ostrovsky.

Keywords: Arkady Schastlivcev, A. N. Ostrovsky, K. N. Batyushkov, A. S. Pushkin, F. M. Dostoevsky, homeostatic society, stability, destruction, craving for the unknown, escape from Paradise

References

1. Balakin A. Yu. More on the Pragmatics and Dating of Pushkin's Marks in the Second Part of "Experiments in Verses and Prose" by K. N. Batyushkov. In: *Slavica Revalensia*, 2016, no. 3, pp. 9–28. Available at: <http://publications.tlu.ee/index.php/slavica/article/view/521/409> (accessed on December 23, 2017). (In Russ.)
2. Batyushkov K. N. *Sochineniya: v 2 tomakh* [Writings: in 2 Vols]. Moscow, Khudozhestvennaya literatura Publ., 1989. (In Russ.)
3. Gorokhova R. M. Pushkin and the Elegy of K. N. Batyushkov "Tasso Dying". In: *Vremennik Pushkinskoy komissii. 1976* [The Chronicle of the Pushkin Committee. 1976]. Leningrad, Nauka Publ., 1979, pp. 24–45. (In Russ.)
4. Gumilev L. *Konets i vnov' nachalo: Populyarnye lektzii po narodovedeniyu* [The End and the Start Again: Popular Lectures on Ethnic Studies]. St. Petersburg, Severo-zapadnoe knigotorgovoe eksportnoe ob"edinenie Publ., Moscow, Kristall Publ., 2003. 414 p. (In Russ.)
5. Dmitriev I. I. *Polnoe sobranie stikhotvorenyy* [The Complete Poems]. Leningrad, Sovetskiy pisatel' Publ., 1967. 512 p. (In Russ.)
6. Dostoevskiy F. M. *Polnoe sobranie sochineniy: v 30 tomakh* [Complete Works: in 30 Vols]. Leningrad, Nauka Publ., 1984, vol. 26. 518 p. (In Russ.)
7. Zhukovskiy V. A. *Sochineniya: v 3 tomakh* [Writings: in 3 Vols]. Moscow, Khudozhestvennaya literatura Publ., 1980, vol. 1. 438 p. (In Russ.)
8. Komarovich V. Notes of Pushkin in the "Experiences" by Batyushkov. In: *Alexander Pushkin*. Moscow, Zhurnal'no-gazetnoe ob"edinenie Publ., 1934, pp. 885–904. ("Literary Heritage"; vol. 16/18) (In Russ.)
9. Koshelev V. A. *V predchuvstvii Pushkina: K. N. Batyushkov v russkoy slovesnosti nachala XIX veka* [In Anticipation of Pushkin: K. N. Batyushkov in Russian Literature of the Beginning of the 19th Century]. Pskov, Pskov Regional Institute of Improvement of Professional Skills of Teachers Publ., 1995. 124 p. (In Russ.)
10. Lotman Yu. M. Historical and Literary Notes. In: *Trudy po russkoy i slavyanskoy filologii* [Works on Russian and Slavic Philology]. Tartu, 1960, issue 3, pp. 311–312. (In Russ.)
11. Maykov L. N. Pushkin About Batyushkov. In: *Maykov L. N. Pushkin. Biograficheskie materialy i istoriko-literaturnye ocherki* [Maykov L. N. Pushkin. Biographical Materials and Historical and Literary Essays]. St. Petersburg, Izdanie L. F. Panteleeva Publ., 1899, pp. 286–287. (In Russ.)
12. Mann Yu. V. *Poetika russkogo romantizma* [The Poetics of Russian Romanticism]. Moscow, Nauka Publ., 1976. 375 p. (In Russ.)
13. Ostolopov N. *Slovar' drevney i novoy poezii: v 3 chastyakh* [The Dictionary of Ancient and Modern Poetry: in 3 Parts]. St. Petersburg, Tipografiya Imperatorskoy Rossiyskoy Akademii Publ., 1821, part 3. 500 p. (In Russ.)
14. Ostrovskiy A. N. *Polnoe sobranie sochineniy: v 12 tomakh* [Complete Works: in 12 Vols]. Moscow, Iskusstvo Publ., 1974, vol. 3: Plays 1868–1871. 559 p. (In Russ.)

15. Proskurin O. A. Pushkin's Marks on the Margins of the “Experiences in Verses” of Batyushkov: Dating, Function, Role in Literary Evolution. In: *Novoe literaturnoe obozrenie* [*New Literary Observer*], 2003, no. 64, pp. 251–283. (In Russ.)
16. Pushkin A. S. *Polnoe sobranie sochineniy: v 16 tomakh* [*Complete Works: in 16 Vols*]. Moscow, Leningrad, Academy of Sciences of the USSR Publ., 1937–1949. (In Russ.)
17. Fridman N. V. *Poeziya Batyushkova* [*Poetry of Batyushkov*]. Moscow, Nauka Publ., 1971. 383 p. (In Russ.)
18. Sandomirskaya V. B. On the Question of the Dating of Pushkin's Marks in the Second Part of Batyushkov's “Experiments”. In: *Vremennik Pushkinskoy komissii. 1972* [*The Chronicle of the Pushkin Committee. 1972*]. Leningrad, Nauka Publ., 1974, pp. 16–35. (In Russ.)
19. Sokolov A. N. A Poetic Fairy Tale (Short Story) in Russian Literature. In: *Stikhotvornaya skazka (novella) XVIII — nachala XIX veka* [*A Poetic Fairy Tale (Short Story) of the 18th and the Beginning of the 19th Century*]. Leningrad, Sovetskiy pisatel' Publ., 1969, pp. 5–42. (In Russ.)

Received: December 15, 2017

Date of publication: June 29, 2018